

Глава 3. Паноптизм

Ознакомимся с опубликованным в конце XVII века положением о мерах, принимаемых в том случае, когда городу угрожает эпидемия чумы[367].

Во-первых, строгое пространственное распределение: закрытие города и ближайших окрестностей, запрещение покидать город под страхом смерти, уничтожение всех бродячих животных; разделение города на отдельные четко очерченные кварталы, каждый из которых управляется «интендантом». Каждая улица находится под контролем синдика; покинув ее, он будет приговорен к смерти. В назначенный день всем приказывают запереться в домах и запрещают выходить под страхом смерти. Синдик собственноручно запирает дверь каждого дома снаружи, уносит ключи и передает их интенданту квартала, который хранит их до окончания карантина. Каждая семья должна запастись провизией. Однако для вина и хлеба между улицей и домами оборудуются деревянные желоба, по которым каждый человек получает свой рацион без малейшего контакта с поставщиками и другими горожанами. Мясо, рыба и пряности доставляются в дома в корзинах, переправляемых по канатам с помощью шкивов. Если выйти из дому совершенно необходимо, то выходят по очереди, дабы избежать встреч. По улицам ходят только интенданты, синдики и часовые. Между зараженными домами от трупа к трупу бродят «вороны», чья смерть никого не волнует: «бедолаги, которые переносят больных, закапывают умерших, убирают улицы и выполняют много презренных и мерзких обязанностей». Разбитое на квадраты, неподвижное, застывшее пространство. Каждый индивид закреплен на своем месте. А если он уходит, то рискует лишиться жизни, заразиться или быть наказанным.

Непрерывное инспектирование. Неусыпный надзор повсюду: «многочисленное ополчение под командованием опытных офицеров и почтенных горожан», сторожевые посты у ворот, ратуши и во всех кварталах, для того чтобы обеспечить немедленное повиновение людей и абсолютную власть магистратов, а «также для предотвращения любых беспорядков, краж и хищений». У всех городских ворот – наблюдательные посты, на углу каждой улицы – часовые. Ежедневно интендант приходит в порученный ему квартал, осведомляется, выполняют ли свои задачи синдики и не жалуются ли на них жители, «наблюдающие за их действиями». Ежедневно синдик проходит вверенную ему улицу, останавливается перед каждым домом: заставляет всех жителей предстать в окнах (те, чьи жилища смотрят во двор, специально прорубают окна на улицу, и в них должны появляться только они сами), вызывает каждого по имени и осведомляется о состоянии здоровья – «жители обязаны отвечать правду под страхом смерти»; если кто-либо не появляется в окне, синдик обязан осведомиться о причинах: «Так он без особого труда выясняет, не укрывают ли умерших или больных». Каждый заперт в своей клетке, каждый – у своего окна, откликается на свое имя и показывается, когда этого требуют, – великий смотр живых и мертвых.

Надзор основывается на системе постоянной регистрации: синдики докладывают интендантам, интенданты – городским старшинам или мэру. С начала «закрытия» города составляется список всех находящихся в нем жителей. В него заносятся «фамилия, имя и пол (независимо от сословия)». Один экземпляр передается квартальному интенданту, второй – в канцелярию ратуши, по третьему синдик проводит ежедневную пере кличку. Все замеченное во время обходов (смерти, болезни, жалобы, нарушения) записывается и докладывается интендантам и представителям власти. Последние полностью контролируют лечение и назначают ответственного врача. Никакой другой врач не имеет права лечить, никакой аптекарь не может изготавливать лекарства, никакой исповедник не смеет посетить больного, не получив письменного уведомления ответственного врача о необходимости «препятствовать сокрытию заразных больных и их лечению без ведома должностных лиц». Регистрация всякой патологии ведется постоянно и централизованно. Отношение каждого индивида к собственной болезни и смерти проходит через представителей власти, проводимую ими регистрацию, выносимые ими решения.

Через пять-шесть дней после начала карантина проводится поочередная дезинфекция домов. Всех обитателей заставляют выйти. В каждой комнате поднимают или подвешивают «мебель и утварь», комнату поливают ароматической жидкостью и, тщательно законопатив окна и двери и залив замочные скважины воском, поджигают ее. Пока она горит, дом остается закрытым. При входе и выходе дезинфекторов обыскивают «в присутствии жителей, чтобы убедиться, что они ничего не принесли и не унесли». Четыре часа спустя жителям разрешают вернуться в дом.

Замкнутое, сегментированное пространство, где просматривается каждая точка, где индивиды водворены на четко определенные места, где каждое движение контролируется, где все события регистрируются, где непрерывно ведущаяся запись связывает центр с периферией, где власть действует безраздельно по неизменной иерархической модели, где каждый индивид постоянно локализован, где его изучают и относят к живым существам, больным или умершим, – все это образует компактную модель дисциплинарного механизма. Чуму встречают порядком. Порядок должен препятствовать возможному смещению, вызываемому болезнью, которая передается при смещении тел, или злом, возрастающим, когда страх и смерть сметают запреты. Порядок «отводит» каждому индивиду его место, его тело, болезнь и смерть, его благосостояние посредством вездесущей и всеведущей власти, которая равномерно и непрерывно подразделяется вплоть до конечного определения индивида: того, что характеризует его, принадлежит ему, происходит с ним. Против чумы, которая есть смещение, дисциплина вводит в действие свою власть, власть анализа. Чума обросла литературным вымыслом, представляющим ее как празднество: приостановка законов, снятие запретов, безумства, смещение тел без различия, сбрасывание масок, забвение индивидами своей законной идентичности и облика, по которым их узнавали, возможность проявления истины совсем иного рода. Но есть также политический, прямо противоположный образ: чума – не общий праздник, а строгие границы; не нарушение законов, а проникновение правил даже в мельчайшие детали повседневной жизни посредством совершенной иерархии, обеспечивающей капиллярное функционирование власти; не надеваемые и сбрасываемые маски, а присвоение каждому индивиду его «истинного» имени, «истинного» места, «истинного» тела и «истинной» болезни. Чума как форма одновременно реального и воображаемого беспорядка имеет

своим медицинским и политическим коррелятом дисциплину. За дисциплинарными механизмами можно увидеть неизгладимый след, оставленный в памяти «заразой»: чумой, бунтами, преступлениями, бродяжничеством, дезертирством, людьми, которые появляются и исчезают, живут и умирают без всякого порядка.

Если верно, что проказа породила ритуалы исключения, до некоторой степени предопределившие модель и общую форму Великого Заключения, то чума породила дисциплинарные схемы. Она вызывает не крупное бинарное разделение между двумя группами людей, а множественные подразделения, индивидуализирующие распределения, глубинную структуру надзора и контроля, интенсификацию и разветвление власти. Прокаженного вовлекают в практику отвержения и изгнания-отгораживания; он предоставляется собственной судьбе в массе, которую бесполезно дифференцировать. Те же, кто болен чумой, оказываются поглощенными детализированным тактическим подразделением, где индивидуальные различия суть ограничивающие следствия власти, которая умножает, артикулирует и подразделяет сама себя. Полное заключение – с одной стороны, выверенная муштра – с другой. Прокаженный – и его отделение; чума – и вместе с ней подразделения. Изгнание прокаженного и домашний арест больного чумой – разные политические мечты. Первая – мечта о чистой общине, вторая – о дисциплинированном обществе. Два способа отправления власти над людьми, контроля над их отношениями, устранения опасных смешений. Пораженный чумой город, насквозь пронизанный иерархией, надзором, наблюдением, записью; город, обездвиженный расширившейся властью, которая в той или иной форме воздействует на все индивидуальные тела, – вот утопия совершенно управляемого города. Чума (по крайней мере ее возможное распространение) – испытание, позволяющее умозрительно определить отправление дисциплинарной власти. Для того чтобы заставить права и законы функционировать в соответствии с чистой теорией, юристы представляли себя в естественном состоянии; для того чтобы увидеть действие совершенных дисциплин, правители воображали состояние чумы. В основании дисциплинарных схем лежит образ чумы, воплощающей все формы смешения и беспорядка, точно так же как в основании схем исключения – образ прокаженного, лишённого всяких человеческих контактов.

Итак, перед нами различные, но отнюдь не несовместимые схемы. Мы видим, что они постепенно сближаются. И особенность XIX столетия состоит в том, что оно применило к пространству исключения, символический обитатель которого – прокаженный (а реальное население – нищие, бродяги, умалишенные, нарушители порядка), технику власти, присущую дисциплинарному распределению. Обращаться с «прокаженными» как с «чумными», переносить детальную сегментацию дисциплины на расплывчатое пространство заключения, применять к нему методы аналитического распределения, присущие власти; индивидуализировать исключенного, но при этом использовать процедуры индивидуализации для «клеймения» исключения, – вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века в психиатрической лечебнице, тюрьме, исправительном доме, заведении для несовершеннолетних правонарушителей и, до некоторой степени, в больнице. Вообще говоря, все эти учреждения для контроля над индивидом действовали в двойном режиме: бинарного разделения и клеймения (сумасшедший – не сумасшедший, опасный – безобидный, нормальный – ненормальный), а также принудительного и дифференцирующего распределения (кто он, где должен

находиться, как его охарактеризовать, как узнать, как осуществить индивидуальный постоянный надзор за ним и т. д.). С одной стороны, с прокаженными обращаются как с больными чумой, к исключенным применяют тактику индивидуализирующей дисциплины. С другой стороны, универсальность дисциплинарного контроля позволяет выделить и пометить «прокаженного», использовать против него дуалистические механизмы исключения. Постоянное разделение на нормальное и ненормальное, которому подвергается каждый индивид, возвращает нас в наше время, когда бинарное клеймение и изгнание прокаженного применяются совсем к другим объектам. Существование целого ряда методов и институтов (предназначенных для выявления и исправления ненормальных, для контроля над ними) вводит в игру дисциплинарные механизмы, порожденные страхом перед чумой. Все механизмы власти, которые даже сегодня возводят вокруг ненормального индивида, чтобы пометить и изменить его, строятся из этих двух форм, являющихся их отдаленными предшественницами.



«Паноптикон» Бентама – архитектурный образ этой композиции. Принцип его нам известен: по периметру – здание в форме кольца. В центре – башня. В башне – широкие окна, выходящие на внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное здание разделено на камеры, каждая из них по длине во всю толщину здания. В камере два окна: одно выходит внутрь (против соответствующего окна башни), а другое – наружу (таким образом вся камера насквозь просматривается). Стало быть, достаточно поместить в центральную башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эффекту контржурного света из башни, стоящей прямо против света, можно наблюдать четко вырисовывающиеся фигурки пленников в камерах периферийного «кольцевого» здания. Сколько камер-клеток, столько и театриков одного актера, причем каждый актер одинок, абсолютно индивидуализирован и постоянно видим. Паноптическое устройство организует пространственные единицы, позволяя постоянно видеть их и немедленно распознавать. Короче говоря, его принцип противоположен принципу темницы. Вернее, из трех функций карцера – заточать, лишать света и скрывать – сохраняется лишь первая, а две другие устраняются. Яркий свет и взгляд надзирателя пленят лучше, чем тьма, которая в конечном счете защищает заключенного. Видимость – ловушка.

Прежде всего, такое устройство делало возможным – в качестве «отрицательного» результата – избежать образования тех скученных, кишящих и ревущих масс, которые населяли места заключения; их изображал Гойя и описывал Говард. Каждый индивид находится на своем месте, надежно заперт в камере, откуда его видит надзиратель; но внутренние стены мешают обитателю камеры установить контакт с соседями. Его видят, но он не видит. Он является объектом информации, но ни когда – субъектом коммуникации. Расположение его камеры напротив центральной башни обеспечивает его продольную видимость; но перегородки внутри кольца, эти отдельные камеры, предполагают поперечную невидимость. И эта невидимость гарантирует порядок. Если в камерах сидят преступники, то нет опасности заговора, попытки коллективного побега, планов новых, будущих преступлений; если больные – нет опасности распространения заразы; если

умалишенные – нет риска взаимного насилия; если школьники, то исключено списывание, гвалт, болтовня, пустая трата времени; если рабочие – нет драк, краж, компаний и развлечений, замедляющих работу, понижающих ее качество или приводящих к несчастным случаям. Толпа – плотная масса, место множественных обменов, схождения индивидуальностей и коллективных проявлений – устраняется и заменяется собранием отделенных индивидуальностей. С точки зрения охранника, толпа заменяется исчислимым и контролируемым множеством, с точки зрения заключенных – изоляцией и поднадзорным одиночеством[368].

Отсюда – основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти. Устроить таким образом, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, даже если он осуществляется с перерывами, чтобы совершенство власти делало необязательным ее действительное отправление и чтобы архитектурный аппарат паноптикона был машиной, создающей и поддерживающей отношение власти независимо от человека, который ее отправляет, – короче говоря, чтобы заключенные были вовлечены в ситуацию власти, носителями которой они сами же являются. Для достижения этого результата постоянного надзора за заключенным одновременно слишком много и слишком мало: слишком мало, поскольку важно лишь то, чтобы заключенный знал, что за ним наблюдают; слишком много – поскольку нет нужды в постоянном надзоре. Поэтому Бентам сформулировал принцип, согласно которому власть должна быть видимой и недоступной для проверки. Видимой: заключенный всегда должен иметь перед глазами длинную тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. Недоступной для проверки: заключенный никогда не должен знать, наблюдают ли за ним в данный конкретный момент, но должен быть уверен, что такое наблюдение всегда возможно. Для того чтобы сделать присутствие или отсутствие надзирателя неустановимым и чтобы заключенные в своих камерах не могли видеть даже его тень или очертания, Бентам предусмотрел не только решетчатые ставни на окнах центрального зала наблюдения, но и внутренние перегородки, пересекающие этот зал под прямым углом. Между секторами – не двери, а зигзагообразные перегородки: ведь малейший шум, проблеск света в дверном проеме могут выдать присутствие охранника[369]. Паноптикон – машина для разбиения пары «видеть – быть видимым»: человек в кольцеобразном здании полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной башни надзиратель видит все, но сам невидим[370].

Это важный механизм, ведь он автоматизирует власть и лишает ее индивидуальности. Принцип власти заключается не столько в человеке, сколько в определенном, продуманном распределении тел, поверхностей, света и взглядов; в расстановке, внутренние механизмы которой производят отношение, вовлекающее индивидов. Церемонии, ритуалы, знаки, посредством которых суверен проявлял «избыток власти», теперь бесполезны. Действуют механизмы, поддерживающие асимметрию, дисбаланс, различие. Следовательно, не имеет значения, кто отправляет власть. Любой индивид, выбранный почти наугад, может запустить машину: в отсутствие начальника – члены его семьи, его друзья, посетители и даже слуги[371]. Точно так же неважно, каков движущий мотив: нескромное любопытство, хитрость ребенка, жажда знания философа, желающего осмотреть этот музей человеческой природы, или злость тех, кто находит удовольствие в выслеживании и наказании. Чем больше этих анонимных и сменяющихся наблюдателей, тем больше заключенный рискует

быть застигнутым врасплох, тем острее становится тревожное сознание поднадзорности. Паноптикон – чудодейственная машина, которая, как бы ее ни использовали, производит однородные воздействия власти.

Реальное подчинение механически рождается из вымышленного отношения. Так что нет нужды прибегать к насильственным средствам принуждения преступника к хорошему поведению, сумасшедшего – к спокойствию, рабочего – к труду, школьника – к прилежанию, больного – к соблюдению предписаний и рецептов. Бентам восхищался тем, что паноптические заведения могут быть столь облегченными: здесь нет ни решеток, ни цепей, ни увесистых замков. Достаточно четких перегородок и правильно расположенных проемов. Громоздкость старых «домов безопасности» крепостной архитектуры можно заменить простой, экономичной геометрией «домов надежности». Эффективность власти, ее принуждающая сила в каком-то смысле перешли на другую сторону – на сторону поверхности ее приложения. Тот, кто помещен в поле видимости и знает об этом, принимает на себя ответственность за принуждения власти; он допускает их спонтанную игру на самом себе; он впитывает отношение власти, в котором одновременно играет обе роли; он становится началом собственного подчинения. Благодаря этому факту внешняя власть может уменьшить свою физическую тяжесть, она склоняется к бестелесному воздействию. И чем ближе она к этому пределу, тем более постоянными, глубинными и стабильными становятся ее проявления и последствия: вечная победа достигается без малейшего физического столкновения и всегда предрешена заранее.

Бентам не говорит, вдохновил ли его на создание проекта паноптикона зверинец, построенный Ле Во[372] в Версале, первый зверинец, элементы которого не были разбросаны по парку (как это делалось традиционно)[373]. В центре находился восьмиугольный павильон, где на втором этаже была единственная комната – салон короля. Со всех сторон салона располагались широкие окна, выходившие на семь клеток с животными (с восьмой стороны был вход). Во времена Бентама этот зверинец уже не существовал. Но в плане паноптикона ощущается то же стремление к индивидуализирующему наблюдению, типизации и классификации, к аналитическому обустройству пространства. Паноптикон – королевский зверинец: зверь заменен человеком, индивидуальное распределение – специфическим объединением, король – механизмами неприметной власти. В чем-то паноптикон решает задачи натуралиста. Он позволяет устанавливать различия: среди больных – наблюдать симптомы каждого больного индивида, не опасаясь того, что теснота в палатах, миазмы, распространение заразы смажут клиническую картину; среди школьников – следить за успехами каждого ученика (исключая подражание или списывание), оценивать способности и характеры, производить жесткие классификации и отличать (ориентируясь на нормальное развитие) «лень и упорство» от «неизлечимой глупости»; среди рабочих – оценивать способности каждого, сравнивать время, затраченное ими на выполнение конкретной работы, а в случае поденной оплаты – исчислять их зарплаты[374].

Это с одной стороны. С другой стороны, паноптикон – лаборатория; он может использоваться как машина для проведения экспериментов, для изменения поведения, для муштры или исправления индивидов. Для проведения опытов с лекарствами и отслеживания их воздействия. Для экспериментального применения различных наказаний к

заклученным в соответствии с их преступлениями и характером и изыскания наиболее эффективных наказаний. Для одновременного обучения рабочих различным технологиям, для выяснения, которая из них лучшая. Для проведения педагогических экспериментов – в частности, нового возвращения к знаменитой проблеме воспитания в изоляции. Можно посмотреть, что произойдет с используемыми в этих экспериментах сиротами на шестнадцатом или восемнадцатом году жизни при знакомстве с другими юношами или девушками. Можно проверить, прав ли Гельвеций, полагавший, что всякий человек может обучиться всему. Можно проследить «генеалогию всякой достойной внимания идеи». Можно воспитывать детей в различных системах мышления, внушая некоторым из них, что дважды два не равно четырем или что луна – сыр, а потом в возрасте двадцати – двадцати пяти лет собрать их вместе; тогда начнутся дискуссии, куда более продуктивные, чем проповеди или лекции, на которые затрачивается столько денег; по крайней мере появится возможность сделать открытия в области метафизики. Паноптикон – привилегированное место для экспериментов над людьми и для анализа, с полной достоверностью показывающего, какие преобразования могут быть их результатами. Паноптикон обеспечивает даже средство контроля за собственными механизмами. Из центральной башни начальник может шпионить за выполняющими его распоряжения служащими: фельдшерами, врачами, мастерами, учителями, надзирателями. Он может постоянно судить об их действиях, изменять их поведение, навязывать им методы, которые считает наилучшими. Даже сам начальник может стать объектом наблюдения. Инспектор, неожиданно появившийся в центре паноптикона, с первого взгляда поймет (и ничто от него не укроется), как действует все заведение. Да и, в любом случае, разве начальник, встроенный в сердцевину этого архитектурного сооружения, не становится его неотъемлемой частью? Некомпетентный врач, давший распространиться заразе, некомпетентный директор тюрьмы или руководитель мастерской падут первыми жертвами эпидемии или бунта. «Всеми средствами, какие я сумел придумать, – говорит хозяин паноптикона, – я связал свою судьбу с судьбами заключенных»[375]. Паноптикон действует как своего рода лаборатория власти. Благодаря обеспечиваемым им механизмам наблюдения он выигрывает в эффективности и способности воздействовать на поведение людей; знание следует за успехами власти, открывающей новые объекты познания на всех поверхностях, где она отправляется.

* * *

Охваченный чумой город, паноптическое заведение – различия между ними существенно важны. Они свидетельствуют о произошедших за полтора столетия преобразованиях в дисциплинарной программе. В первом случае налицо исключительная ситуация: против чудовищного зла восстает власть; она делает себя вездесущей и видимой; она изобретает новые механизмы; она разгораживает, обездвигивает, разделяет; на какое-то время возводит сразу контргород и совершенное общество; она устанавливает некое идеальное функционирование, которое, однако, в конечном счете сводится (как и противостоящее ему зло) к простому дуализму жизни и смерти: все, что движется, несет смерть, потому движущееся убивают. Паноптикон, с другой стороны, следует понимать как обобщаемую модель функционирования; как способ определения отношений власти в терминах повседневной жизни людей. Несомненно, Бентам рассматривает его как обособленный

институт, замкнутый на самом себе. Утопии, абсолютно замкнутые на самих себе, совершенно обычны. По сравнению с разрушенными тюрьмами, переполненными и напичканными орудиями пыток, какими мы видим их на гравюрах Пиранези[376], паноптикон представляет собой жестокую, остроумно устроенную клетку. Тот факт, что он произвел, и даже в наше время, столь многочисленные вариации, будь то на бумаге или в действительности, свидетельствует о его чрезвычайной притягательности для умов в течение почти двух столетий. Но не следует понимать паноптикон как плод мечты: он – диаграмма механизма власти, сведенной к ее идеальной форме; ее действие (если отвлечься от преград, сопротивления и трения) должно быть представлено как чистая архитектурная и оптическая система: по сути дела, паноптикон – форма политической технологии, которая может и должна быть отделена от всякого конкретного применения.

Паноптикон многофункционален; он служит для исправления заключенных, но и для лечения больных, обучения школьников, ограничения активности умалишенных, надзора за рабочими и принуждения к труду нищих и лентяев. Он представляет собой некий тип размещения тел в пространстве, распределения индивидов относительно друг друга, иерархической организации, расположения центров и каналов власти, определения ее орудий и методов вмешательства, применимых в больницах, на фабриках, в школах и тюрьмах. Везде, где приходится иметь дело с множественностью индивидов, которым надо навязать определенное задание или конкретную форму поведения, может быть использована паноптическая схема. Она применима – с необходимыми изменениями – ко «всем заведениям, где на сравнительно небольшом пространстве требуется держать под надзором некоторое количество людей»[377].

В каждом из своих применений паноптическая схема позволяет совершенствовать отправление власти, предусматривая для этого несколько путей. Она уменьшает число представителей власти, одновременно увеличивая число людей, подлежащих ее воздействию. Она делает возможным вмешательство власти в любой момент, и ее постоянное давление действует даже раньше, чем совершены проступки, ошибки или преступления. В условиях паноптикона сила власти заключается в том, что она никогда не вмешивается, а отправляется самопроизвольно и бесшумно, она образует механизм, чьи действия вытекают одно из другого. Не располагая никакими материальными инструментами, кроме архитектуры и геометрии, власть воздействует непосредственно на индивидов, она «дает сознанию власть над сознанием». Паноптическая схема усиливает любой аппарат власти: она обеспечивает экономию (оборудования, персонала, времени) и эффективность (благодаря своему превентивному характеру, непрерывному действию и автоматизму). Она есть способ достижения власти «в прежде беспримерном количестве», «великий и новый инструмент правления... его огромное превосходство заключается в большой силе, какую он способен придать любому институту, к которому его сочтут целесообразным применить»[378].

Паноптикон – род «колумбова яйца» в сфере политического. И впрямь, он может быть интегрирован в любую функцию (образование, медицинское лечение, производство, наказание); он может усилить эту функцию, тесно переплетаясь с ней; он может образовать смешанный механизм, где отношения власти (и знания) точно и в мельчайших деталях приспособлены к процессам, подлежащим надзору; он может установить прямую

пропорцию между «избыточной властью» и «избыточным продуктом». Словом, он обеспечивает такое устройство, где отправление власти не добавляется извне (как жесткое принуждение или тяжесть) к функциям, в которых он участвует, но присутствует в них столь тонко и ловко, что повышает их эффективность, одновременно укрепляя свои точки сцепления. Паноптическое устройство – не просто шарнир или теплообменник между механизмом власти и функцией, но способ заставить отношения власти действовать в некой функции, а функцию – действовать через отношения власти. Паноптическая модель способна «перестроить мораль, сохранить здоровье, укрепить промышленность, распространить образование, снизить государственные затраты, поставить экономику на твердую почву, как бы на скалу, и распутать, а не рассечь гордиев узел законов о бедных, и все это – благодаря простой архитектурной идее»[379].

Кроме того, устройство этой машины таково, что ее замкнутая структура не исключает постоянного внешнего участия: мы видели, что любой человек может прийти в центральную башню, осуществить надзор и при этом ясно понять принцип действия механизма надзора. В сущности, всякое паноптическое заведение (даже такое в высшей степени закрытое, как тюрьма) вполне может подвергаться таким нерегулярным, но вместе с тем постоянным инспекциям – не только со стороны назначенных контролеров, но и со стороны публики: любой член общества имеет право прийти и собственными глазами увидеть, как действуют школы, больницы, заводы и тюрьмы. Стало быть, нет опасности, что рост власти, обеспечиваемый паноптической машиной, приведет к тирании; это дисциплинарное устройство будет контролироваться демократически, поскольку оно будет постоянно открыто «великому судебному комитету всего мира»[380]. Паноптикон, устроенный столь хитроумно, что позволяет наблюдателю наблюдать сразу за множеством различных индивидов, позволяет также каждому прийти и наблюдать за любым наблюдателем. Машина видения была некогда своего рода темной комнатой, откуда осуществлялась слежка; она стала прозрачным сооружением, где отправление власти может контролироваться всем обществом.

Паноптическая схема, именно как таковая и во всех своих свойствах, была предназначена для распространения по всему телу общества, была призвана стать некой обобщенной функцией. Город, зараженный чумой, – исключительная дисциплинарная модель: совершенная, но абсолютно насильственная; болезни, несшей смерть, власть противопоставляла вечную угрозу смерти; жизнь в городе была сведена к простейшему выражению; в противостоянии могуществу смерти она становилась детальным осуществлением права меча. Паноптикон, напротив, призван расширять и усиливать; если он организует власть, если он стремится сделать ее более экономичной и эффективной, то не ради самой власти и не для немедленного спасения общества, которому что-то угрожает; его цель в том, чтобы укрепить социальные силы, – поднять производство, развить экономику, распространить просвещение и повысить уровень общественной нравственности; наращивать и преумножать.

Как усилить власть таким образом, чтобы, совершенно не мешая прогрессу, не подавляя его тяжестью своих правил и регулятивов, она реально способствовала ему? Какое средство усиления власти могло бы одновременно поднять производство? Как может власть, наращивая свои силы, укреплять и силы общества, вместо того чтобы отнимать или

сковывать их? Решение этой проблемы в рамках паноптической схемы заключается в том, что продуктивное увеличение власти может быть гарантировано только в том случае, если, с одной стороны, она непрерывно отправляется в самых глубинах общества, в его тончайших частицах, и если, с другой стороны, она действует вне тех внезапных, буйных и прерывистых форм, что характерны для отправления власти суверена. Тело короля (с его странным материальным и мифическим присутствием, с той силой, которую он разворачивает сам или передает немногим другим лицам) прямо противоположно этой новой физике власти, представленной паноптизмом. Вотчина паноптизма, напротив, – вся нижняя область, область иррегулярных тел с их деталями, многочисленными движениями, разнородными силами, пространственными отношениями; здесь требуются механизмы, которые анализируют распределения, нарушения, ряды и комбинации и используют инструменты, которые делают видимым, записывают, различают и сравнивают: физика существующей в форме отношений и множественной власти, достигающей максимальной интенсивности не в личности короля, а в телах, индивидуализируемых посредством этих отношений. В теории Бентам определяет новый способ анализа тела общества и пронизывающих его отношений власти; на практике он определяет процедуру подчинения тел и сил, которая должна увеличить полезность власти без вреда для интересов государя. Паноптизм – общий принцип новой «политической анатомии», объектом и целью которой являются не отношения верховной власти, а отношения дисциплины.

Знаменитая прозрачная круглая клетка с высокой центральной башней, всесильной и знающей, была, с точки зрения Бентама, образом совершенного дисциплинарного института; но он хотел также показать, как можно «разомкнуть» дисциплины и дать им действовать широким, рассеянным, многообразным и поливалентным образом во всем теле общества. Эти дисциплины, разработанные классическим веком в особых, относительно замкнутых местах (казармах, коллежах, крупных мастерских) и предназначавшиеся тогда лишь для ограниченного и временного использования в масштабах охваченного чумой города, Бентам мечтал превратить в сеть устройств, вездесущих и недремлющих, пронизывающих все общество, не оставляя пространственных лакун и временных промежутков. Паноптическое устройство предоставляет формулу для этого обобщения. Оно задает, на уровне элементарного и легко передаваемого механизма, программу базового, низового функционирования общества, вдоль и поперек пересеченного дисциплинарными механизмами.

* * *

Итак, два образа дисциплины. На одном конце – дисциплина-блокада, замкнутый институт, расположенный по краям общества и нацеленный на выполнение исключительно «отрицательных» функций, таких, как нераспространение болезни, разрыв сообщения, приостановка времени. На другом, в паноптической схеме, – дисциплина-механизм: функциональное устройство, призванное улучшить отправление власти – сделать его легче, быстрее и эффективнее; план тонких принуждений для будущего общества. Движение от одного проекта к другому, от схемы дисциплины в отдельном исключительном случае к схеме повсеместного надзора зиждется на историческом преобразовании: на постепенном распространении механизмов дисциплины на протяжении XVII-XVIII столетий, их

расползании по всему телу общества и образовании того, что, вообще говоря, можно назвать дисциплинарным обществом.

Повсеместное распространение дисциплины – что подтверждает Бентамова физика власти – произошло на протяжении классического века. Увеличение числа дисциплинарных заведений, сеть которых начинает покрывать все большую площадь, а главное, занимать все менее второстепенное место, свидетельствует об этом: то, что было островком, неким привилегированным местом, мерой, диктуемой обстоятельствами, или всего лишь особой моделью, становится общей формулой. Правила благочестивых протестантских армий Вильгельма Оранского или Густава Адольфа преобразуются в уставы всех армий Европы. Образцовые коллежи иезуитов или школы Батенкура или Демиа, вслед за школой Штурма[381], задают образец общих форм школьной дисциплины. Устройство флотских и военных госпиталей служит схемой полной реорганизации больниц в XVIII веке.

Но распространение дисциплинарных институтов было, несомненно, лишь наиболее видимым аспектом других, более глубоких процессов.

1

Функциональная инверсия дисциплин. Поначалу дисциплины должны были в основном нейтрализовать опасности, выявлять бесполезные или беспокойные группы населения и избавлять от неудобств, порождаемых слишком многолюдными сборищами. Теперь они должны (ибо становятся способны к этому) играть положительную роль – увеличивать возможную полезность индивидов. Военная дисциплина – уже не просто средство предотвращения мародерства, дезертирства или неповиновения войск, но базовая техника, обеспечивающая существование армии не как случайного сброда, а как единства, сила которого возрастает именно благодаря самому этому единству; дисциплина повышает ловкость каждого солдата, координирует навыки солдат, ускоряет движения, умножает огневую мощь, расширяет фронты атаки, не снижая ее силы, увеличивает обороноспособность и т. п. Фабричная дисциплина, оставаясь способом укрепления уважения уставов, подчинения власти хозяев и мастеров, предотвращает воровство и разброд, наращивает навыки, скорость, производительность, а значит, увеличивает прибыль; она еще оказывает моральное воздействие на поведение, но все более ориентирует действия на достижение результатов, приучает тела к механизмам, а силы – к экономии. Когда в XVII веке были основаны провинциальные и христианские начальные школы, их необходимость обосновывали главным образом отрицательными доводами: бедняки, не имея средств для воспитания детей, оставляли их «в неведении относительно их обязанностей; зарабатывая на жизнь тяжким трудом и получив дурное воспитание, они не способны дать детям хорошее воспитание, которого не получили сами»; это порождает три главных изъяна: незнание Бога, лень (и сопровождающие ее пьянство, пороки, мелкие кражи, разбойничество) и появление толп нищих, всегда готовых вызвать общественные беспорядки и «до дна исчерпать фонды центральной больницы в Париже»[382]. Но в начале Революции одной из целей начального образования стало «укрепление», «развитие тела», подготовка ребенка «к будущему физическому труду», формирование «верного глаза, твердой руки и надлежащих навыков»[383]. Дисциплины все больше служат техниками изготовления полезных индивидов. Отсюда их выдвижение с маргинальных позиций на

заворках общества и отделение от форм исключения или искупления, заточения или затворничества. Отсюда постепенная утрата ими родства с религиозными правилами и запретами. Отсюда также их укоренение в самых важных, центральных и продуктивных секторах общества. Они присоединяются к некоторым существенно важным функциям: производству, передаче знаний, распространению трудовых навыков, военному аппарату. Отсюда и двоякая тенденция, развивающаяся на протяжении XVIII века: к увеличению числа дисциплинарных институтов и дисциплинированию существующих аппаратов.

2

«Роение» дисциплинарных механизмов. В то время как, с одной стороны, дисциплинарные заведения множатся, их механизмы проявляют явную тенденцию к пересечению институциональных границ, к выходу из закрытых крепостей, где они некогда действовали, к движению в «свободном» состоянии; цельные компактные дисциплины дробятся на гибкие методы контроля, которые можно передавать и адаптировать. Иногда закрытые аппараты добавляют к своей внутренней и специфической функции роль внешнего надзора, развивая вокруг себя целое поле побочных проверок. Так, христианская школа не только формирует послушных детей – она делает возможным надзор за родителями, получение информации об их образе жизни, источниках дохода, набожности и нравах. Школа образует маленькие социальные обсерватории, позволяющие проникать даже в мир взрослых и осуществлять регулярный контроль над ними: плохое поведение ребенка или его отсутствие на занятиях служат (по мнению Демиа) законным предлогом для опроса соседей (особенно если есть основания полагать, что семья утаит правду), а затем и самих родителей, дабы выяснить, знают ли они катехизис и молитвы, полны ли решимости искоренить пороки своих детей, сколько кроватей в их доме и каковы условия для сна; визит может завершиться подачей милостыни, дарением иконы или дополнительных кроватей[384]. Больница тоже все больше становится базой для медицинского надзора за населением за ее стенами; после того как в 1772 г. сгорела Отель-Дье, многие требовали, чтобы большие заведения, столь тяжеловесные и беспорядочные, были заменены больницами поменьше; последние должны были принимать больных из данного квартала, но также собирать информацию, отслеживать эндемические и эпидемические явления, открывать диспансеры, давать советы жителям и оповещать власти о санитарном состоянии района[385].

Происходит распространение дисциплинарных процедур, и не только в форме закрытых заведений, но и как очагов контроля, разбросанных по всему обществу. Религиозные группы и благотворительные организации долго исполняли эту функцию «дисциплинирования» населения. Начиная с Контрреформации и до филантропии Июльской монархии инициатив такого рода становится все больше. Цели их были религиозными (обращение и наставление), экономическими (помощь и побуждение к труду) или политическими (борьба с недовольством и волнениями). В качестве примера достаточно вспомнить правила парижских приходских благотворительных обществ. Обслуживаемая ими территория подразделяется на кварталы и кантоны, распределяемые между членами общества. Ответственные должны регулярно обходить свои кварталы. «Они должны стараться искоренить злачные места, табачные лавки, бильярдные, игорные дома, предотвратить публичные скандалы, богохульство, безбожие и прочие беспорядки, о коих им станет известно». Они должны также посещать бедных в индивидуальном порядке. В правилах

уточняется, какие сведения они должны собирать: о наличии постоянного жилья, знании молитв, посещении церкви для исповеди и причастия, владении ремеслом, нравственности (и «не впали ли они в бедность по собственной вине»). Наконец, «надлежит с помощью наводящих вопросов вызнать, как они ведут себя в семье, живут ли в согласии между собой и с соседями, воспитывают ли детей в страхе Божьем... не укладывают ли взрослых детей разного пола вместе или к себе в постель, нет ли в их семьях распущенности и разврата, особенно по отношению к взрослым дочерям. Если возникнет сомнение в том, состоят ли они в законном браке, то надо потребовать, чтобы предъявили свидетельство о браке»[386].

3

Государственный контроль над дисциплинарными механизмами. В Англии за общественной дисциплиной долгое время следили отдельные религиозные группы[387]. Во Франции эта роль частично выполнялась приходскими организациями и благотворительными ассоциациями, другая же (и, несомненно, самая важная) ее часть очень скоро перешла к полицейскому аппарату.

Организация централизованной полиции долго расценивалась (причем даже современниками) как самое прямое выражение абсолютной власти короля. Суверен желал иметь «собственного чиновника, которому мог бы непосредственно доверить свои повеления, поручения, намерения и вверить исполнение приказов и указов о заточении без суда и следствия»[388]. В самом деле, местные полицейские управления и главное парижское управление, которому они подчинялись, взяв на себя исполнение некоторых уже существовавших функций (розыск преступников, городской надзор, экономический и политический контроль), преобразовали их в единую строгую административную машину: «Все силовые и информационные векторы в округе сходятся в начальнике главного полицейского управления... Именно он заставляет вращаться все эти колесики, которые вместе создают порядок и гармонию. Результаты его управления не оставляют желать лучшего, даже по сравнению с движением небесных тел»[389].

Но хотя полиция как институт действительно являлась государственным аппаратом и, безусловно, была непосредственно связана с центром политической власти, тип отправляемой полицией власти, механизмы ее действия и точки ее приложения специфичны. Этот аппарат должен быть сопряженным со всем телом общества, и не только в крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, ответственность за которые он на себя берет. Полицейская власть должна распространяться «на все», однако это «все» – не целое государства или королевства как видимого и невидимого тела монарха, но пыль событий, действий, поведения, мнений – «все, что происходит»[390]; предмет полицейского интереса – те «вещи, кои всякий час случиться могут», те «мелочи», о которых говорила Екатерина II в Великом наказе[391]. Полиция осуществляет безграничный контроль, который в идеале должен добраться до простейшего зернышка, до самого мимолетного явления в теле общества. «Ведомство судей и полицейских чиновников имеет огромное значение. Объекты, которые оно охватывает, в известном смысле неопределенны. Их можно воспринять лишь при достаточно детальном рассмотрении»[392]: «бесконечно малое» политической власти.

И для того чтобы действовать, эта власть должна получить инструмент постоянного, исчерпывающего, вездесущего надзора, способного все делать видимым, при этом оставаясь невидимым. Надзор должен быть как бы безликим взглядом, преобразующим все тело общества в поле восприятия: тысячи глаз, следящих повсюду, мобильное, вечно напряженное внимание, протяженная иерархическая сеть, которая в Париже, по докладу Ле Мэра, включала в себя 48 комиссаров и 20 инспекторов; затем регулярно оплачиваемых «наблюдателей», «шпики»-поденщиков, или тайных агентов, далее – осведомителей (получавших вознаграждение за сделанную работу) и, наконец, проституток. И это непрерывное наблюдение должно суммироваться в рапортах и журналах; на всем протяжении XVIII века огромный полицейский текст все больше опутывает общество посредством сложно организованной документации[393]. И в отличие от методов судебной или административной записи, в полицейских документах регистрируются формы поведения, установки, возможности, подозрения – ведется постоянный учет поведения индивидов.

Но надо отметить, что, хотя полицейский надзор сосредоточен всецело «в руках короля», он действует не в одном направлении. По сути, это система с двойным входом: она должна, в обход аппарата правосудия, отвечать непосредственно по желаниям короля, но также реагировать на ходатайства снизу. В подавляющем большинстве случаев знаменитые королевские *lettres de cachet*, указы о заточении без суда и следствия, которые долгое время служили символом королевского произвола и политически дисквалифицировали практику задержания, были результатом ходатайств родственников, хозяев, местной знати, соседей, приходских священников; они должны были карать заключением всю «инфрапреступность», наказывать за все, что может быть наказано: за беспорядки, волнения, неповиновение, плохое поведение; все эти вещи Леду[394] стремился изгнать из своего архитектурно совершенного города и именовал «преступлениями, совершенными по причине отсутствия надзора». Короче говоря, полиция в XVIII веке добавляет к своей роли помощницы юстиции в преследовании преступников и инструмента для политического контроля над заговорами, оппозиционными движениями или бунтами дисциплинарную функцию. Это сложная функция: она соединяет абсолютную власть монарха с низшими уровнями власти, рассеянными в обществе; она раскидывает между многочисленными и многообразными замкнутыми дисциплинарными институтами (фабриками, армиями, школами) промежуточную сеть, действующую там, где они не могут действовать, и дисциплинирующую недисциплинарные пространства; но она заполняет бреши, соединяет их между собой, защищает своей вооруженной силой: промежуточная дисциплина и метадисциплина. «Посредством умной полиции суверен приучает народ к порядку и повиновению»[395].

Организация полицейского аппарата в XVIII веке санкционирует повсеместное распространение дисциплин, которые становятся сопряженными с самим государством. Понятно, почему полиция – хотя и была очевиднейшим образом связана со всем, что в королевской власти выходило за рамки нормального правосудия, – оказала столь слабое сопротивление переустройству судебной власти. И понятно, почему она не перестает навязывать судебной власти свои прерогативы, причем со всевозрастающей силой, вплоть до наших дней. Несомненно, потому, что она светская рука судебного. Но также и потому, что она в значительно большей степени, чем судебный институт, составляет одно целое

(благодаря своему распространению и механизмам) с обществом дисциплинарного типа. И все же неверно было бы полагать, что дисциплинарные функции были конфискованы и раз и навсегда поглощены государственным аппаратом.

«Дисциплина» не может отождествляться ни с институтом, ни с аппаратом; она – тип власти, модальность ее отправления, содержащая целую совокупность инструментов, методов, уровней приложения и мишеней; она есть «физика» или «анатомия» власти, некая технология. И ответственность за ее претворение могут брать на себя либо «специализированные» заведения (тюрьмы или исправительные дома в XIX веке), либо заведения, использующие ее в качестве основного инструмента для достижения конкретной цели (воспитательные дома, больницы), либо уже существующие инстанции, которые используют ее как способ усиления или реорганизации своих внутренних механизмов власти (когда-нибудь мы покажем, как, начиная с классического века, выбрали в себя внешние схемы – сначала школьные и военные, затем медицинские, психиатрические и психологические – и «дисциплинировались» внутрисемейные отношения, главным образом в ячейке родители – дети; семья – привилегированное место для возникновения дисциплинарного вопроса о нормальном и ненормальном), либо аппараты, возведшие дисциплину в принцип своего внутреннего функционирования (аппарат управления начиная с наполеоновской эпохи), либо, наконец, государственные аппараты, чьей главной, если не исключительной функцией является утверждение власти дисциплины над всем обществом (полиция).

В целом можно говорить, следовательно, об образовании дисциплинарного общества в этом движении, соединившем закрытые дисциплины, своего рода социальный «карантин», и бесконечно распространяемый механизм «паноптизма». Не потому, что дисциплинарная модальность власти заменила все другие, а потому, что она пропитала эти другие, иногда подрывая их, но и служа посредствующим звеном между ними, связывая их друг с другом, продолжая их, главное же – позволяя доводить действие власти до мельчайших и отдаленнейших элементов. Дисциплина обеспечивает распространение отношений власти до уровня бесконечно малых величин.

Через несколько лет после Бентама Юлиус выдал этому обществу свидетельство о рождении[396]. Юлиус заметил, что паноптизм – много больше, нежели плод архитектурной изобретательности: событие в «истории человеческого сознания». На первый взгляд он представляет собой просто решение технической проблемы, но благодаря ему возникает новый тип общества. Древность была цивилизацией зрелищ. «Делать доступным множеству людей наблюдение малого числа объектов»: такую проблему решала архитектура храмов, театров и цирков. Вместе со зрелищем главенствовали общественная жизнь, празднества, чувственная близость. В этих ритуалах, где бурлила кровь, общество черпало новые силы и образовывало на миг одно огромное тело. Новое время ставит противоположную, проблему: «Обеспечить для малого числа людей, и даже для одного человека, мгновенное обозрение большого множества». В обществе, основные элементы которого уже не община и общественная жизнь, а отдельные индивиды, с одной стороны, и государство – с другой, отношения могут быть установлены лишь в форме, диаметрально противоположной зрелищу: «Современность, постоянно растущее влияние государства, его все более глубокое вмешательство во все детали и отношения общественной жизни призваны усилить

и усовершенствовать ее гарантии, используя для достижения этой великой цели строительство и распределение сооружений, предназначенных для одновременного надзора за огромным множеством людей».

Юлиус считал завершенным историческим процессом то, что Бентам описывал как техническую программу. Наше общество – общество надзора, а не зрелища. Под поверхностным прикрытием надзора оно внедряется в глубину тел; за великой абстракцией обмена продолжается кропотливая, конкретная муштра полезных сил; каналы связи являются опорами для накопления и централизации знания; игра знаков определяет «якорные стоянки» власти; нельзя сказать, что прекрасная целостность индивида ампутируется, подавляется и искажается нашим общественным порядком, – скорее, индивид заботливо производится в нем с помощью особой техники сил и тел. Мы гораздо меньше греки, чем мы думаем. Мы находимся не на скамьях амфитеатра и не на сцене, а в паноптической машине, мы захвачены проявлениями власти, которые доводим до себя сами, поскольку служим колесиками этой машины. Вероятно, важность для исторической мифологии фигуры Наполеона объясняется ее расположением на стыке монархического, ритуального отправления власти суверена и иерархического, постоянного отправления неопределенной дисциплины. Он возвышается над всем, обнимает все одним взором, от которого не ускользает ни одна деталь, пусть даже мельчайшая: «Вы видите, что ни одна часть Империи не остается без надзора, что никакое преступление и никакой проступок не должны пройти безнаказанно и что взор гения, способный объять все вокруг, охватывает всю эту огромную машину, не упуская ни малейшей детали»[397]. В момент своего полного расцвета дисциплинарное общество еще сохраняет, благодаря императору, старый аспект власти зрелища. Как монарх, являющийся одновременно и узурпатором древнего трона, и строителем нового государства, он соединил в едином символическом предельном образе весь долгий процесс, в котором пышность королевской власти, ее необходимо зрелищные проявления угасли друг за другом в ежедневном отправлении надзора, в паноптизме, где бдительность перекрестных взглядов скоро сделала лишними и орла, и солнце[398].



Образование дисциплинарного общества связано с рядом более широких исторических процессов – экономических, юридическо-политических и, наконец, научных, – частью которых оно является.

1

Вообще говоря, можно утверждать, что дисциплины – техники, обеспечивающие упорядочение человеческих множеств. Правда, в этом нет ничего исключительного или даже характерного: всякая система власти сталкивается с той же проблемой. Но особенность дисциплины состоит в том, что она пытается ввести тактику власти, отвечающую трем критериям: отправление власти должно быть максимально дешевым (экономически – благодаря малым расходам и политически – в силу ее сдержанности, слабого внешнего выражения, относительной невидимости и незначительного сопротивления ей); действия этой социальной власти должны быть максимально сильными

и распространяться как можно дальше, без провалов и пробелов; и наконец, «экономический» рост власти должен быть связан с производительностью аппаратов (образовательных, военных, промышленных, медицинских), внутри которых она отправляется; короче говоря, необходимо одновременно увеличивать как послушность, так и полезность всех элементов социальной системы. Эта тройная цель дисциплин отвечает хорошо известной исторической ситуации. С одной стороны – сильный демографический скачок в XVIII веке; возрастание текущего народонаселения (одна из главных целей дисциплины – закреплять население на месте; она – средство против номадизма); изменение численности групп, подвергаемых контролю и манипулированию (с начала XVII века до кануна французской революции количество школьников увеличилось, как, несомненно, и число пациентов в больницах; в конце XVIII века, в мирное время, армия насчитывала свыше 200 000 человек). Другой стороной сложившейся ситуации был рост производственного аппарата, который все больше увеличивается и усложняется; он становится также все более дорогостоящим, а потому возникает проблема увеличения его рентабельности. Развитие дисциплинарных методов соответствует этим двум процессам или, вернее, возникшей потребности выправить их соотношение. Ни остаточные формы феодальной власти, ни структуры правящей монархии, ни локальные механизмы надзора, ни неустойчивая масса, образуемая переплетением их всех, не могли исполнить эту роль: им мешали неравномерное и не лишенное лакун распространение, частые конфликты, порождаемые их действием, а главное – «дороговизна» отправляемой в них власти. Она была дорогостоящей в нескольких смыслах. Потому, что, в прямом смысле, дорого обходилась государственной казне. Потому, что система взяточничества и откупных должностей косвенно, но очень сильно давила на население. Потому, что сопротивление, оказываемое власти, втягивало ее в круговорот непрерывного укрепления. Потому, что власть действовала исключительно посредством налогообложения (взимание денег или продуктов труда в форме королевского, сеньориального и церковного налогов; взимание людей или времени в форме барщины или отдачи в солдаты, заключения или ссылки бродяг). Развитие дисциплин знаменует возникновение элементарных техник власти, основанных на совершенно другой экономии: на механизмах власти, которые, вместо того чтобы «взимать», органически входят в продуктивную эффективность аппаратов, в рост этой эффективности и использование того, что она производит. Ведь старый принцип «взимание – насилие», управлявший экономией власти, дисциплины заменяют принципом «мягкость – производство – прибыль». Они – техники, позволяющие «приспособить» друг к другу человеческие множества и рост числа аппаратов производства (не только «производства» в строгом смысле слова, но и производства знания и навыков в школах, здоровья в больницах, разрушительной силы в армии).

Работая над их взаимным приспособлением, дисциплина призвана решить ряд проблем, с которыми невозможно справиться средствами прежней экономии власти. Она может сократить «бесполезность» характерных проявлений массы: ограничить то, что делает множество гораздо менее управляемым, чем единство; то, что препятствует использованию каждого из элементов множества и их суммы; все то, что отменяет преимущества, обеспечиваемые массой. Вот почему дисциплина фиксирует; задерживает или регулирует перемещения; устраняет смещения; рассеивает компактные группы индивидов, чье поведение непредсказуемо; обеспечивает исчислимые распределения. Дисциплина должна также обуздывать все силы, возникающие из самой структуры организованного множества,

нейтрализовать проявления противодействия, порождаемые этими силами и оказывающие сопротивление власти, которая стремится восторжествовать над множеством: волнения, бунты, стихийные организации, коалиции – все, что устанавливает горизонтальные связи. Отсюда понятно, почему дисциплины используют методы разгораживания и проведения вертикалей, ставят между различными элементами одного уровня максимально прочные перегородки, раскидывают плотные иерархические сети, короче говоря, противопоставляют внутренней враждебной силе множества метод построения непрерывной индивидуализирующей пирамиды. Дисциплины должны также усиливать единичную полезность каждого элемента множества, причем самыми быстрыми и дешевыми способами, используя для этого, так сказать, само множество. Отсюда использование, для извлечения из тел максимума времени и сил, общих методов, известных как распорядок дня, коллективная муштра, упражнения, глобальный и вместе с тем детальный надзор. Кроме того, дисциплины усиливают эффект полезности множеств, добиваясь, чтобы каждое из них было полезнее простой суммы своих элементов; именно для увеличения полезных свойств множества дисциплины вводят тактики распределения, обоюдного приспособления тел, жестов и ритмов, дифференцирования способностей, взаимной координации относительно аппаратов или задач. Наконец, дисциплины должны вводить в игру отношения власти (не над множеством, но в самой его толще) как можно более незаметным, как нельзя лучше связанным с другими его функциями и наименее дорогостоящим образом: этой цели отвечают анонимные инструменты власти, сопряженные с множеством, которое они систематизируют и унифицируют, – иерархический надзор, непрерывная запись и регистрация, вечная оценка и классификация. Короче говоря, дисциплины призваны заменить власть, проявляющуюся благодаря блеску тех, кто ее отправляет, властью, тайно объективирующей тех, к кому она применяется. Дисциплины должны формировать знание об индивидах, а не выставлять напоказ знаки суверенной власти. Словом, дисциплины – совокупности мелких технических изобретений, позволяющих увеличить полезность множеств путем сокращения неудобств для власти, которая, чтобы сделать их полезными, должна их контролировать. Множество, будь то цех, нация, армия или школа, достигает порога дисциплины, когда их отношение друг к другу становится благожелательным.

Если экономический взлет Запада начался с техник, которые сделали возможным накопление капитала, то можно сказать, пожалуй, что методы управления «накоплением людей» обеспечили политический отрыв от тех традиционных, ритуальных, дорогостоящих и насильственных форм власти, которые скоро вышли из употребления и сменились тонкой, рассчитанной технологией подчинения. В сущности, эти процессы – накопление людей и накопление капитала – неотделимы друг от друга; невозможно было бы решить проблему накопления людей без роста производственного аппарата, способного их содержать и использовать; напротив, техники, делающие полезным кумулятивное множество людей, ускоряют накопление капитала. На менее общем уровне технологические изменения производственного аппарата, разделение труда и выработка дисциплинарных методов были связаны очень тесными отношениями[399]. Каждый из этих процессов сделал возможным и необходимым другой, каждый послужил моделью другому. Дисциплинарная пирамида образовала маленькую клетку власти, где были предписаны и стали эффективными разделение, координация и контроль заданий, а аналитическое дробление времени, жестов и телесных сил образовало рабочую схему, которую можно было легко перенести с подчиняемых групп на производственные механизмы; массовый перенос военных методов

на организацию промышленности служит примером такого моделирования разделения труда, которое ориентировано на образец, заданный схемами власти. Но, с другой стороны, технический анализ процесса производства, его «механическое» расчленение были перенесены на рабочую силу, призванную обеспечивать этот процесс: результатом переноса стало создание дисциплинарных машин, объединяющих в целое и увеличивающих индивидуальные силы. Можно сказать, что дисциплина – единый метод, посредством которого тело с наименьшими затратами сокращается как «политическая» сила и максимально увеличивается как полезная сила. Рост капиталистической экономики породил специфическую модальность дисциплинарной власти: ее общие формулы, методы подчинения сил и тел, короче говоря, «политическая анатомия» могут работать в самых разных политических режимах, аппаратах и институтах.

2

Паноптическая модальность власти – на элементарном, техническом, чисто физическом уровне, на котором она располагается, – не зависит прямо от крупных юридическо-политических структур общества и не образует их непосредственного продолжения. Тем не менее она не является абсолютно независимой. Исторически сложилось так, что процесс, приведший в XVIII веке к политическому господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной, кодифицированной и формально эгалитарной юридической структуры, которая стала возможной благодаря созданию режима парламентского, представительного типа. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной, темной стороной этих процессов. Общая юридическая форма, гарантировавшая систему в принципе равных прав, поддерживалась этими мелкими повседневными физическими механизмами, всеми теми системами микровласти, в сущности не эгалитарными и асимметричными, которые и есть дисциплины.

И хотя формально представительное правление обеспечивает, чтобы воля всех (непосредственно или опосредованно) являлась главной инстанцией верховной власти, дисциплины гарантируют в самом основании общества подчинение сил и тел. Реальные, телесные дисциплины образуют фундамент формальных, юридических свобод. Общественный договор можно рассматривать как идеальное основание права и политической власти; паноптизм представляет собой повсеместно распространенную технику принуждения. Он продолжает работать в глубине юридических структур общества, заставляя действенные механизмы власти функционировать в противоположность обретенной ею формальной структуре. Эпоха Просвещения, открывшая свободы, изобрела и дисциплины. Казалось бы, дисциплины не более чем инфраправо. Они доводят общие формы, установленные законом, до бесконечно малого уровня индивидуальных существований; или же выступают как методы обучения, позволяющие индивидам соответствовать этим общим требованиям. Они продолжают право того же типа, но в другом масштабе, делая его более детализированным и терпимым. Но дисциплины следует рассматривать, скорее, как род контрправа. Они исполняют совершенно определенную роль – вводят непреодолимые асимметрии и исключают взаимности. Прежде всего потому, что дисциплина образует «частную» связь между индивидами, отношение принуждения, совершенно отличное от договорного обязательства; принятие дисциплины может предписываться договором; способ, каким она насаждается, механизмы, какие она

приводит в действие, необратимое подчинение одних людей другим, «сверхвласть», которая всегда сосредоточивается на одной стороне, неравенство положения различных «партнеров» относительно общего правила – все это отличает дисциплинарную связь от договорной связи и позволяет систематически искажать последнюю с того самого момента, когда ее содержанием становится дисциплинарный механизм. Например, известно, что многие действительные процедуры подрывают юридическую фикцию трудового договора: цеховая дисциплина – не самая маловажная.

Кроме того, если юридические системы квалифицируют субъектов права в соответствии со всеобщими нормами, то дисциплины характеризуют, классифицируют, специализируют; они распределяют по некой шкале, ориентируются на некую норму, устанавливают иерархию индивидов, а если потребуется – дисквалифицируют и исключают. Как бы то ни было, в пространстве и времени, где дисциплины осуществляют контроль и вводят в игру асимметрии своей власти, они приостанавливают право, но всегда лишь временно, никогда не отменяя его полностью. Какой бы регулярной и институциональной ни была дисциплина, по своему механизму она является «контрправом». И хотя всеобщий юридический характер современного общества, казалось бы, устанавливает границы отправлению власти, его повсеместный паноптизм позволяет функционировать, на изнаночной стороне права, огромному и одновременно мельчайшему механизму, который поддерживает, усиливает, умножает асимметрию власти и делает бесполезными границы, очерчиваемые правом. Мельчайшие дисциплины, повседневные «паноптизмы» прекрасно устраиваются ниже уровня больших аппаратов и великих политических битв. Но в генеалогии современного общества они являются, как и пронизывающее его классовое господство, политической противоположностью юридических норм, в соответствии с которыми перераспределяется власть. Отсюда, несомненно, выясняется значение, издавна придаваемое малым дисциплинарным техникам, тем, казалось бы, ничтожным хитростям, что изобретает дисциплина, и даже знаниям, придающим ей респектабельный вид. Отсюда боязливое нежелание избавиться от них, когда их нечем заменить. Отсюда утверждение, что они действуют в самом основании общества, суть элемент его равновесия, тогда как на самом деле они – ряд механизмов для окончательного и повсеместного нарушения равновесия в отношениях власти. Отсюда упрямое изображение дисциплин как скромной, но конкретной формы всякой морали, тогда как на самом деле они представляют собой совокупность физико-политических техник.

Возвращаясь к проблеме законных наказаний, тюрьму со всей имеющейся в ее распоряжении исправительной технологией следует переместить в точку, где законосообразная власть наказывать превращается в дисциплинарную власть надзирать; где универсальные законные наказания применяются избирательно, к определенным индивидам, причем всегда к одним и тем же; где перекалывание правового субъекта посредством наказания становится полезной муштрой преступника; где право опрокидывается и выходит за собственные пределы, – где контрправо становится действенным и институциональным содержанием юридических форм. Следовательно, повсеместность власти наказывать обеспечивается не всеобщим осознанием закона – осознанием его каждым правовым субъектом, но ее равномерным распространением, этой бесконечно мелкой сетью паноптических техник.

Отдельно взятая, каждая из этих техник имеет долгую историю. Но новым в XVIII веке было то, что, соединяясь и распространяясь, они достигают уровня, на котором формирование знания и увеличение власти постоянно укрепляют друг друга в круговом процессе. Дисциплины переступают здесь «технологический» порог. Сначала больница, затем школа, а позднее и мастерская не просто «перестраиваются» дисциплинами; благодаря дисциплинам они становятся такими аппаратами, что всякий механизм объективации может использоваться в них как инструмент подчинения, а всякий рост власти может породить новые знания; именно эта связь, присущая технологическим системам, сделала возможным формирование в дисциплинарном элементе клинической медицины, психиатрии, детской психологии, педагогической психологии и рационализации труда. Стало быть, происходит двойной процесс: эпистемологическое «раскрытие» посредством совершенствования отношений власти; умножение последствий власти через формирование и накопление новых знаний.

Распространение дисциплинарных методов идет в русле широкого исторического процесса – развития примерно в то же время многих других технологий: агрономических, промышленных и экономических. Но надо признать, что по сравнению с угольной промышленностью зарождающимися химическими производствами или методами государственного учета, по сравнению с домнами и паровой машиной паноптизм не привлек к себе особого внимания. В нем видели не более чем странную маленькую утопию, злобную мечту, – как если бы Бентам был Фурье полицейского общества, а фаланга приняла форму паноптикона. И все же паноптизм представлял собой абстрактную формулу совершенно реальной технологии, технологии производства индивидов. Имеется много причин тому, что она не снискала особых похвал. Самая очевидная из них – в том, что вызванные ею дискурсы редко обретали (если оставить в стороне академические классификации) статус наук. Но настоящая причина состоит, несомненно, в том, что власть, отправляемая и увеличиваемая посредством этой технологии, есть непосредственная, физическая власть людей друг над другом. Бесславное завершение, нехотя признаваемое происхождение. Но было бы несправедливо сравнивать дисциплинарные методы с такими изобретениями, как паровая машина или микроскоп Амичи[400]. Эти первые много меньше; и все же, некоторым образом, много больше. Если уж искать исторический эквивалент или по крайней мере нечто сопоставимое с дисциплинарными методами, то это, скорее, «инквизиторская» техника.

XVIII век изобрел техники дисциплины и экзамена, подобно тому как средневековые – судебное дознание. Но они пришли к этому совершенно разными путями. Процедура дознания (старый метод, применяемый при сборе налогов и в административных целях) получила особое развитие с реорганизацией Церкви и ростом числа княжеств в XII–XIII столетиях. Тогда она снискала весьма широкое распространение в судебной практике – сначала в церковной, а затем и в светской. Дознание как авторитарное разыскание удостоверяемой или свидетельствуемой истины было, таким образом, противопоставлено старым процедурам присяги, клятвы, ордалии, судебного поединка, Божьего суда или даже соглашения между частными лицами. Дознание представляло собой власть суверена, присваивающего себе право устанавливать истину посредством ряда определенных

методов. И хотя с тех пор дознание стало неотъемлемым элементом западной юстиции (оставаясь таковым вплоть до наших дней), не надо забывать ни о его политическом происхождении, ни о его связи с возникновением государств и монархической власти, ни тем более о его последующем распространении и роли в формировании знания. Фактически дознание было начальным, но основополагающим элементом формирования эмпирических наук; оно было юридическо-политической матрицей экспериментального знания, которое, как известно, стало очень быстро развиваться к концу средних веков. Пожалуй, правильно сказать, что математика родилась в Греции из техник измерения; естественные науки, до некоторой степени, возникли в конце средних веков из практики дознания. Великое эмпирическое знание, которое объяло вещи мира и включило их в порядок бесконечного дискурса, констатирующего, описывающего и устанавливающего «факты» (в тот момент, когда Запад начал экономическое и политическое завоевание того же мира), действовало, несомненно, по модели Инквизиции – великого изобретения, которое новая мягкость задвинула в темные уголки нашей памяти. Но тем, чем это юридическо-политическое, административное и уголовное, религиозное и светское дознание было для естественных наук, для наук о человеке стал дисциплинарный анализ. Технической матрицей этих наук, услаждающих нашу «гуманность» уже более столетия, является придирчивая, мелочная, злая кропотливость дисциплин и дознаний. Пожалуй, для психологии, педагогики, криминологии и многих других странных наук дисциплинарное дознание является тем же, чем ужасная власть дознания – для бесстрастного изучения животных, растений или Земли. Другая власть, другое знание. На пороге классического века Бэкон, законовед и государственный муж, пытался перенести в область эмпирических наук методы дознания. Какой Великий Надзиратель создаст методологию экзамена для гуманитарных наук? Если, конечно, это возможно. Ведь хотя справедливо, что, становясь техникой для эмпирических наук, дознание отделилось от инквизиторской процедуры (в которую уходили его исторические корни), экзамен сохранил чрезвычайно тесную связь с создавшей его дисциплинарной властью. Он всегда был и остается внутренним элементом дисциплин. Конечно, он вроде бы претерпел умозрительное очищение, органически соединившись с такими науками, как психиатрия и психология. И впрямь, обретение им формы тестов, собеседований, опросов и консультаций призвано, казалось бы, корректировать механизмы дисциплины: психология образования должна смягчать строгости школы, точно так же как медицинское или психиатрическое собеседование – исправлять последствия трудовой дисциплины. Но не следует заблуждаться: эти техники просто отсылают индивидов от одной дисциплинарной инстанции к другой и воспроизводят, в концентрированном или формализованном виде, схему «власть – знание», присущую всякой дисциплине[401]. Великое дознание, вызвавшее к жизни естественные науки, отделилось от своей политикоюридической модели. Экзамен по-прежнему остается в рамках дисциплинарной технологии.

В средние века процедура дознания постепенно навязала себя старому обвинительному правосудию в ходе процесса, исходившего сверху. Дисциплинарный метод, с другой стороны, вторгся в уголовное правосудие коварно и как бы снизу, и оно до сих пор остается в принципе инквизиторским. Все значительные расширения, характерные для современной карательной системы, – внимание к личности преступника, стоящей за совершённым преступлением, стремление сделать наказание исправлением, терапией, нормализацией, разделение акта судебного решения между различными инстанциями, которые должны

измерять, оценивать, диагностировать, лечить и преобразовывать индивидов, – свидетельствуют о проникновении дисциплинарного экзамена в эту судебную инквизицию.

Отныне карательному правосудию в качестве точки приложения, «полезного объекта» предлагается уже не тело преступника, противостоящее телу короля, и не правовой субъект идеального договора, а дисциплинарный индивид. Предел французского уголовного правосудия при монархическом режиме – бесконечное расчленение тела цареубийцы: проявление сильнейшей власти над телом величайшего преступника, чье полное уничтожение ярко высвечивает преступление во всей его истине. Идеальная точка нынешнего уголовного правосудия – бесконечная дисциплина. Бесконечный допрос. Дознание, не имеющее конца, – детализированный и все более расчленяющий надзор. Вынесение приговора, а одновременно – начало дела, которое никогда не будет закрыто. Отмеренная мягкость наказания, переплетающаяся с жестоким любопытством экзамена. Судебная процедура, предполагающая и постоянный замер отклонения от недостижимой нормы, и движение по асимптоте, бесконечно устремленное к норме. Публичная казнь логически завершает судебную процедуру, которую ведет Инквизиция. Установление «надзора» за индивидами является естественным продолжением правосудия, пропитанного дисциплинарными методами и экзаменационными процедурами. Удивительно ли, что многокамерная тюрьма с ее системой регулярной записи событий, принудительным трудом, с ее инстанциями надзора и оценки и специалистами по нормальности, которые принимают и множат функции судьи, стала современным инструментом наказания? Удивительно ли, что тюрьмы похожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые похожи на тюрьмы?

Версия #3

Зверобой создал 26 мая 2025 14:08:12

Зверобой обновил 31 мая 2025 11:19:07